

Аркадий Стругацкий и Борис Стругацкий

Отель «У погибшего альпиниста»

«Как сообщают, в округе Винги, близ города Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации буржуазная пресса поспешила объявить их пришельцами из космоса...»

(Из газет)

1

Я остановил машину, вылез и снял черные очки. Здесь все было именно так, как рассказывал Згут. Отель был двухэтажный, желто-зеленый, над крыльцом красовалась траурная вывеска: «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами — я насчитал семь штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной с руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо, и тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый

коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. Тяжелой медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алек Сневар, владелец отеля, долины и Бутылочного Горлышка.

— Там... — произнес он неестественно низким и глухим голосом. — Вон там это произошло. — Он простер указующую руку. В руке был штопор. — На той вершине...

Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на иззубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба.

— Лопнул карабин, — все тем же глухим голосом продолжал владелец. — Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может быть, он молился. Его слышал только бог. Потом он достиг склона, и мы здесь услышали лавину, рев разбуженного зверя, жадный голодный рев, и земля

дрогнула, когда он грянулся о нее вместе с сорока двумя тысячами тонн кристаллического снега...

— Чего ради его туда понесло? — спросил я, разглядывая зловещую стену.

— Позвольте мне погрузиться в прошлое, — проговорил владелец, склонил голову и приложил кулак со штопором к лысому лбу.

Все было совершенно так, как рассказывал Згут. Только вот собаки нигде не было видно, но я заметил множество ее визитных карточек на снегу возле крыльца и вокруг лыж. Я полез в машину и достал корзину с бутылками.

— Привет от инспектора Згута, — сказал я, и владелец тут же вынырнул из прошлого.

— Вот достойный человек! — сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом. — Как он поживает?

— Неплохо, — ответил я, вручая ему корзину.

— Я вижу, он не забыл вечера, которые провел у моего камина.

— Он только о них и говорит, — сказал я и снова повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку.

— Ни шагу назад! — строго произнес он. — Этим займется Кайса. Кайса! — трубно взревел он.

На крыльцо выскочила собака — великолепный сенбернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я

уже знал, это было все, что осталось от Погибшего Альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере-музее. Я был не прочь посмотреть, как этот кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукой уже направлял меня в дом.

Мы прошли через сумрачный холл, где ощущался теплый запах погасшего камина и тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло, позвякивающая и булькающая корзинка водворилась в углу, и хозяин распахнул на столе громоздкий грессбух.

— Прежде всего разрешите представиться, — сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера. — Алек Сневар, владелец отеля и механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из Бутылочного Горлышка?

— Ах, это были ветряки?..

— Да. Ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил. Вот этими руками.

— Что вы говорите... — пробормотал я.

— Да. Сам. И еще многое.

— А куда нести? — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос.

Я обернулся. В дверях, с моим чемоданом в

руке, стояла эдакая кубышечка, пышечка эдакая лет двадцати пяти, с румянцем во всю щеку, с широко расставленными и широко раскрытыми голубыми глазками.

— Это Кайса, — сообщил мне хозяин. — Кайса! Этот господин привез нам привет от господина Згута. Ты помнишь господина Згута, Кайса? Ты должна его помнить.

Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью.

— Помнит, — объяснил мне хозяин. — Запомнила... Н-ну-с... Так я помещу вас в номер четыре. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина... м-м...

— Глебски, — сказал я.

— Отнеси чемодан господина Глебски в четвертый номер... Поразительная дура, — сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась. — В своем роде феномен... Итак, господин Глебски? — Он выжидательно взглянул на меня.

— Петер Глебски, — продиктовал я. — Инспектор полиции. В отпуске. На две недели. Один.

Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами, а пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел сенбернар. Он поглядел на меня, подмигнул и вдруг

с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, пал около сейфа, уронив морду на лапу.

— Это Лель, — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки. — Сапиенс. Все понимает на трех европейских языках. Блох нет, но линяет.

Лель вздохнул и переложил морду на другую лапу.

— Пойдемте, — сказал хозяин, вставая. — Я провожу вас в номер.

Мы снова пересекли холл и стали подниматься по лестнице.

— Обедаем мы в шесть, — рассказывал хозяин. — Но перекусить можно в любое время, а равно и выпить чего-нибудь освежающего. В десять вечера — легкий ужин. Танцы, бильярд, картишки, собеседования у камина.

Мы вышли в коридор второго этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился.

— Здесь, — произнес он прежним глухим голосом. — Прошу.

Он распахнул передо мною дверь, и я вошел.

— С того самого незабываемого страшного дня... — начал он и вдруг замолчал.

Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпеншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла висела

чья-то брезентовая куртка, на полу рядом с креслом валялась газета.

— Гм... — сказал я озадаченно. — По-моему, здесь уже кто-то живет.

Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Кажется «данхилл». Из трубки поднимался дымок.

— Живет... — произнес, наконец, хозяин. — Живет ли?.. Впрочем, почему бы и нет?

Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж.

— Здесь, — окрепшим голосом продолжал хозяин, — вот уже шесть лет, с того самого незабываемого страшного дня, все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением...

Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку.

— Да! — сказал хозяин с вызовом. — Это ЕГО трубка. Это вот — ЕГО куртка. А вот это — ЕГО альпеншток. «Возьмите с собой альпеншток», — сказал я ему в то утро. Он только улыбнулся и покачал головой. «Но не хотите же вы

остаться там навсегда!» — воскликнул я, холодея от страшного предчувствия. «Пуркуа па?» — отвечивал он мне по-французски. Мне до сих пор так и не удалось выяснить, что это означало...

— Это означало «почему бы и нет?», — заметил я.

Хозяин горестно покивал.

— Я так и думал... А вот это — ЕГО саквояж. Я не разрешил полиции копаться в его вещах...

— А вот это — ЕГО газета, — сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний «Мюрский Вестник».

— Нет, — сказал хозяин. — Газета, конечно, не его.

— У меня тоже такое впечатление, — согласился я.

— Газета, конечно, не его, — повторил хозяин. — И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой.

Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших.

— Нет, — задумчиво возразил хозяин, — здесь все сложнее. Здесь все гораздо сложнее, господин Глебски. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер.

Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенового шкафа и, подойдя к окну, похлопал

ладонями по портьерам. По-моему, ему очень хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор.

— Инспектор Згут как-то рассказывал мне, — произнес хозяин после короткого молчания, — что его специальность — так называемые медвежатники. А у вас какая специальность, если это, конечно, не секрет?

Он распахнул передо мною дверь четвертого номера.

— У меня скучная специальность, — ответил я. — Должностные преступления, растраты, подлоги, подделка государственных бумаг...

Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе — ни пылинки, за промытым окном — снежная равнина и сиреневые горы.

— Жаль, — сказал хозяин.

— Почему? — спросил я рассеяно и заглянул в спальню. Здесь еще хозяйничала Кайса. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены, а Кайса взбивала подушки.

— А впрочем, и не жаль несколько, — заявил хозяин. — Вам не приходилось, господин Глебски, замечать, насколько неизвестное интереснее познанного? Неизвестное будоражит мысль, заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рождает удивительные фантазии, обещает, манит.

Неизвестное подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Но ставши познанным, оно становится плоским, серым и неразличимо сливается с серым фоном будней.

— Вы поэт, господин Сневар, — заметил я еще рассеянное. Я смотрел на Кайсу и понимал Згута. Пышечка-кубышечка на фоне постели выглядела необычайно заманчиво. Было в ней что-то неизвестное, что-то еще непознанное...

— Ну вот вы и дома, — сказал хозяин. — Располагайтесь, отдыхайте, делайте что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам внизу, обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в шесть, а если вздумаете перекусить прямо сейчас или освежиться — я имею в виду напитки, — обращайтесь к Кайсе. Приветствую вас.

И он ушел.

Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немыслимого совершенства, а я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, всеблагой Господи, наконец-то я был один! Я знаю — нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве! Нет, я люблю своих детей, я люблю свою жену, у меня нет никаких злых чувств к моим родственникам, и большинство моих

друзей и знакомых вполне тактичные и приятные в общении люди. Но когда изо дня в день, из часа в час они непрерывно толкуются возле меня, сменяя друг друга, и нет никакой, ни малейшей возможности прекратить эту толчею, отделить себя от всех, запереться, отключиться... Сам я этого не читал, но вот сын мой утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня две недельки отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И чтобы не было ничего такого, что я обязан делать, а было бы только то, что мне хочется делать. Сигарета, которую я закурю, потому что мне хочется, а не потому, что мне суют под нос пачку. И которую я не закурю, если мне не хочется, именно потому что мне не хочется, а вовсе не потому, что мадам Зельц не выносит табачного дыма... Рюмка бренди у горящего камина — это хорошо. Это действительно будет неплохо. Вообще мне здесь, кажется, будет неплохо. И это просто прекрасно. Мне хорошо с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно не старым, еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину, к сиреневым отрогам, по свистящему снегу, и вон тогда станет совсем уж превосходно...

— Принести что-нибудь? — спросила Кайса. — Угодно?

Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке, шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин. Носки она держала несколько внутрь и не была похожа ни на одну из моих знакомых, и это тоже было хорошо.

— Кто у вас тут сейчас живет? — спросил я.

— Где?

— У вас. В отеле.

— В отеле? У нас тут? Да живут здесь...

— Кто именно?

— Ну — кто? Господин Мозес живут с женой. В первом и втором. И в третьем тоже. Только там они не живут. А может, с дочерью. Не разобрать. Красавица, все глазами смотрит...

— Так-так, — сказал я, чтобы ее подбодрить.

— Господин Симонэ живут. Тут вот, напротив. Ученые. Все на бильярде играют и по стенам ползают. Шалуны они, только унылые. На психической почве. — Она снова покраснелась и принялась водить плечами.

— А еще кто? — спросил я.

— Господин дю Барнстокр, гипнотизеры из цирка...

— Барнстокр? Тот самый?

— Не знаю, может, и тот. Гипнотизеры... и Брюн...

— Кто это — Брюн?

— Да с мотоциклом они, в штанах. Тоже шалуны, хоть и молоденькие совсем.

— Так, — сказал я. — Все?

— Еще кто-то живет. Недавно вроде бы приехали. Только они просто так... Стоят просто. Не спят, не едят, только на постое стоят...

— Не понимаю, — признался я.

— А и никто не понимает. Стоят, и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина дю Барнстокра утащили. Ищем, ищем везде — нет туфель. А они их в музей занесли, да там и оставили. И еще следы оставляют...

— Какие? — Очень мне хотелось ее понять.

— Мокрые. Так по всему коридору и идут. А еще манеру взяли мне звонить. То из одного номера, то из другого. Приду, а там никого нет.

— Ну ладно, — сказал я со вздохом. — Не понять мне тебя, Кайса. И не надо. Пойду-ка я лучше в душ.

Я раздавил окурок в девственно-чистой пепельнице и отправился в спальню за бельем. Там я сложил на столике в изголовье стопку книг, подумав мельком, что зря я их, пожалуй, сюда тащил, сбросил ботинки, сунул ноги в шлепанцы и,

захватив купальное полотенце, отправился в душ. Кайса уже ушла, пепельница на столе снова сияла девственной чистотой. В коридоре было пустынно, откуда-то доносилось постукивание бильярдных шаров — должно быть, развлекался унылый шалун на психической почве. Как его... Симонэ, кажется.

Дверь в душевую я обнаружил на лестничной площадке, и дверь эта оказалась заперта. Некоторое время я стоял в нерешительности, осторожно крутя пластмассовую ручку. Кто-то неторопливо, грузным шагом прошел по коридору. Можно, конечно, спуститься в душевую на первом этаже, подумал я. А можно и не спускаться. Можно сначала пробежаться на лыжах. Я рассеянно уставился на деревянную лестницу, ведущую, видимо, на крышу. Или, например, подняться на крышу и полюбоваться видом. Говорят, здесь неопишимо хороши восходы и закаты. А все-таки свинство, что душ заперт. Или там кто-то засел? Да нет тихо... Я еще раз подергал ручку. А, ладно. Бог с ним, с душем. Успеется. Я повернулся и пошел к себе.

Что-то изменилось в моем номере, я почувствовал это сразу. Через секунду я понял: пахло трубочным табаком, совсем как в номере-музее. Я немедленно взглянул на пепельницу. Курящейся трубки там не было — была горка пепла вперемешку с табачными

крошками. На постое стоят, вспомнилось мне. Не пьют, не едят, только следы оставляют...

И тут рядом кто-то протяжно и громко зевнул. Из спальни, стуча когтями, лениво вышел сенбернар Лель, с ухмылкой посмотрел на меня и потянулся.

— Ах, так это ты здесь курил? — сказал я.

Лель подмигнул и помотал головой. Словно муху отгонял.

2

Судя по следам на снегу, кто-то здесь уже пытался ходить на лыжах, — отъехал метров на пятьдесят, падая на каждом шагу, а затем возвратился, проваливаясь по колено, таща лыжи и палки в охапке, роняя их, подбирая и снова роняя, — казалось, над этими скорбными голубыми рытвинами и шрамами в снегу до сих пор не осели замерзшие проклятия. Но в остальном снежный покров долины был чист и нетронут, как новенькая крахмаленная простыня.

Я попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску

заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения... унылые заслякощенные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки, сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой, и выцветшие розовенькие обои в спальне, и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской... с каждым выдохом освобождаясь от самого себя — казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе, и как же это здорово, что я сюда приехал... молодец Згут, умница Згут, спасибо тебе, Згут, хоть ты и лупишь, говорят, своих «медвежатников» по мордам во время допросов... и какой же я еще крепкий, ловкий, сильный — могу вот так, по идеальной прямой, сто тысяч километров по идеальной прямой, а могу вот так, круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега... а ведь я уже три года не бегал на лыжах, с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик, и на кой черт мы это сделали, снабдились приютом на старость,

всю жизнь работаешь на старость... а, черт с ним со всем, не хочу я об этом сейчас думать, черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петер, Петер Глебски, законолюбивый чиновник, спаси тебя бог...

Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы запорошенный снежной пылью. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками, а восторг приходит — и тут же уходит. Вот и уши ветром заложило... Я снял перчатку, сунул мизинец в ухо, повертел и вдруг услышал трескучий грохот, словно по соседству шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня — не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих, новых, которые пробивают стены и губят больше жизней, чем все насильники, грабители и убийцы, вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, очки снова залепило, но я все-таки заметил тощую согнутую фигуру, развевающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа. За езду без шлема, подумал я автоматически, пятьдесят крон штрафа и лишение водительского удостоверения на месяц... Впрочем, не могло быть и речи о том, чтобы разглядеть номер — я не мог разглядеть даже отель

и половину долины впридачу — снежное облако поднялось до неба. А, какое мне дело! Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю.

Когда я подъехал, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. До чего все-таки зловещая машина. Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У Погибшего Мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: «Сюда. Сюда он врезался на скорости сто двадцать миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собой четыреста тридцать два кирпича...» Хорошая вещь — реклама, подумал я, поднимаясь по ступенькам. Приду вот сейчас к себе в номер, а за моим столом расселся скелет с дымящейся трубкой в зубах, и перед ним фирменная настойка на мухоморах, три кроны за литр.

Посредине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему гибкому существу неопределенного пола, развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное

личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф.

Когда я закрыл за собой дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическими брыльями и не менее аристократическим носом. Такой нос мог быть только у одного человека, и этот человек не мог не быть той самой знаменитостью. Секунду он разглядывал меня, словно бы недоумении, затем сложил губы куриной гузкой и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь.

— Дю Барнстокр, — почти пропел он. — К вашим услугам.

— Неужели тот самый дю Барнстокр? — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку.

— Тот самый, сударь, тот самый, — произнес он. — С кем имею честь?

Я отрекомендовался, испытывая какую-то дурацкую робость, которая нам, полицейским чиновникам, вообще-то несвойственна. Ведь с первого же взгляда было ясно, что такой человек не может не скрывать доходов и налоговые декларации заполняет туманно.

— Какая прелесть! — пропел вдруг дю

Барнстокр, хватая меня за лацкан.

— Где вы это нашли? Брюн, дитя мое, взгляните, какая прелесть!

В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И запахло фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник.

— Из рукава, — заявило оно хриплым басом. — Хилая работа, дядя.

— Из рукава! — грустно повторил дю Барнстокр. — Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа. Хотя и недостойная такого знатока, как господин Глебски.

Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрал брови, и фиалка пропала. Я закрыл рот и потряс головой. У меня не было слов.

— Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебски, — сказал дю Барнстокр. — Я следил за вами из окна. И надо сказать, получил истинное наслаждение.

— Ну что вы, — пробормотал я. — Так, бегал когда-то...

— Дядя, — воззвало вдруг существо из недр кресла. — Сотворите лучше сигаретку.

Дю Барнстокр, казалось, спохватился.

— Да! — сказал он. — Позвольте представить

вам, господин Глебски: это Брюн, единственное дитя моего дорогого покойного брата... Брюн, дитя мое!

Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а впрочем, может быть, и не женские а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а впрочем, может быть, совсем наоборот — стройные девичьи. Куртка же была размера на три больше, чем требовалось. Одним словом, я бы предпочел, чтобы дю Барнстокр представил чадо своего дорогого покойника просто как племянницу или племянника. Дитя равнодушно улыбнулось мне розовым нежным ртом и протянуло обветренную исцарапанную руку.

— Хорошо мы вас шуганули? — осведомилось оно сипло. — Там, на дороге...

— Мы? — переспросил я.

— Ну, не мы, конечно. Буцефал. Он это умеет... Все очки ему залепил, — сообщило оно дяде.

— В данном случае, — любезно пояснил дю Барнстокр, — Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал — это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении двух последних лет и в конце концов,

как я чувствую, вгонит меня в гроб.

— Сигаретку бы, — напомнило чадо.

Дю Барнстокр удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее чаду. Чадо затянулось и капризно буркнуло:

— Опять с фильтром...

— Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска, — сказал мне дю Барнстокр. — Скоро обед...

— Да, — сказал я. — Конечно. Прошу прощения.

Для меня было большим облегчением удрать от этой компании. Я не чувствовал себя в форме. Меня застали врасплох. Все-таки знаменитый фокусник на арене — это одно, а знаменитый фокусник в частной жизни — это, оказывается, совсем другое. Я кое-как откланялся и пошел шагать через три ступеньки на свой этаж.

В коридоре по-прежнему было пусто, где-то в отдалении по-прежнему сухо пощелкивали бильярдные шары. Проклятый душ был по-прежнему заперт. Я кое-как умылся у себя в номере, переоделся, и взяв сигаретку, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то визг и зловещий рыдающий хохот в

коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы промяукал: «Кушать, пожалуйста!». Я откликнулся в том смысле, что да-да, сейчас иду, и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. «Кушать, пожалуйста!» — донеслось издали, а потом еще раз: «Кушать, пожалуйста!», а потом снова короткий визг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряканье ржавых цепей.

Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание; мужественная замкнутость профессионала; простодушная готовность к любым знакомствам и ухмылка типа «гы». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел.

Дверь номера напротив была распахнута. В проеме, у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной — в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась однако же вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте, — сказал я, помолчав. — Вам помочь?

Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и,

продолжая отдавать честь, встал передо мною во фрунт.

— Честь имею, инспектор, — сказал он. — Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симонэ.

— Вольно, — сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик, — сообщил он. — Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как «от инфантерии». Получается смешно. — И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.

— Что вы там делали наверху? — спросил я, преодолевая оторопь.

— Тренировался, — ответствовал он. — Я ведь альпинист...

— Погибший? — сострил я и сейчас же пожалел об этом, потому что он снова обрушил на меня лавину своего замогильного хохота.

— Неплохо, неплохо для начала, — проговорил он, вытирая глаза. — Нет, я еще живой. Я приехал сюда полазать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лазаю по дверям, по стенам... — Он вдруг замолчал и взял меня под руку. — Собственно говоря, — сказал он, — я приехал сюда проветриться.

Переутомление. Проект «Мидас», слышали? Совершенно секретно. Четыре года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий. — Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски. — Держитесь за мной, инспектор, — гаркнул он на бегу. — Торопитесь, а не то друзья и близкие Погибшего съедят всю икру...

Столовая была большая, в пять окон. Посредине стоял огромный овальный стол персон на двадцать; роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками; скатерть на столе была крахмальная, посуда — прекрасного фарфора, приборы — серебряные, с благородной чернью. Но при всем при том порядки здесь, видимо, были самые демократические. На столике для закусок красовались закуски — хватай, что успеешь. На другой столик, поменьше, Кайса водружала фаянсовые лохани с овощным супом и бульоном — сам выбирай, сам наливай. Для желающих освежиться существовала буфетная батарея — бренди, ирландский джин, пиво и фирменная настойка (на лепестках эдельвейса, утверждал Згут).

За столом уже сидели дю Барнстокр и чадо его

покойного брата. Дю Барнстокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, уплетало овощной суп.

Во главе стола царила незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то двадцать, не то сорок, нежные смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема — это была, несомненно, госпожа Мозес, и ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах да еще, пожалуй, в супербоевиках.

Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносиком в руке. На подносике в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка.

— Боевое крещение! — объявил хозяин, приблизившись. — Набирайте закуску поострее.

Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух (еще пару затхлых кабинетов и коридоров) и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, поэтому я содрогнулся только мысленно и откусил половину

пикуля. Хозяин крикнул. Симонэ тоже крикнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О! Это настоящий мужчина». Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину пикуля, горько сожалея, что не бывает пикулей величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо.

— Госпожа Мозес! — произнес хозяин. — Разрешите представить вам инспектора Глебски.

Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы.

— Господин Глебски! — сказал хозяин. — Госпожа Мозес.

Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам, так у меня пекло в животе, но госпожа Мозес улыбнулась, и мне сразу полегчало. Скромно отвернувшись, я покончил с закуской и отправился за супом. Хозяин усадил меня напротив Барнстокров, так что справа от меня, к сожалению, слишком далеко, оказалась госпожа Мозес, а слева, к сожалению, слишком близко, — унылый шалун Симонэ, готовый в любую минуту разразиться жутким хохотом.

Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее — о том, что в отеле происходят последние дни странные вещи. Меня как новичка посвятили в подробности. Дю Барнстокр подтвердил, что

действительно два дня назад у него пропали туфли, которые обнаружили только к вечеру в номере-музее. Симонэ, похихатывая, сообщил, что кто-то читает его книги — по преимуществу специальную литературу — и делает на полях пометки — по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то несомненно бродит по дому. Он слышал это своими ушами и один раз даже видел белую фигуру, скользнувшую от входной двери через холл по направлению к лестнице. Госпожа Мозес, нисколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Дю Барнстокр тоже подтвердил, что кто-то ходит, но он лично считает, что это всего лишь наша добрая Кайса, так ему, во всяком случае, показалось. Хозяин заметил, что это совершенно исключено, а Симон Симонэ похвастался, будто он вот спит по ночам как мертвый и ничего такого не слышал. Но он уже дважды замечал, что лыжные ботинки его постоянно пребывают в мокром состоянии, как будто кто-то ночью бегаёт в них по снегу. Я, потешаясь про себя, рассказал про случай с пепельницей и сенбернаром, а чадо хрипло объявило — к сведению всех присутствующих, —

что оно, чадо, в общем ничего особенного против этих штучек-дрючек не имеет, оно к этим фокусам-покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его, чадиной, постели. При этом оно свирепо целилось в меня своими окулярами, и я порадовался, что приехал только сегодня.

Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик.

— Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город, — объявил он. — Останавливается в гостинице и велит позвать хозяина...

Внезапно он замолчал и огляделся.

— Пардон, — произнес он. — Я не уверен, что в присутствии дам, — тут он поклонился в сторону госпожи Мозес, — а также юно... э-э... юношества, — он посмотрел на чадо, — э-э...

— А, дурацкий анекдот, — сказала чадо с пренебрежением. — «Все прекрасно, но не делится пополам». Этот, что ли?

— Именно! — воскликнул Симонэ и разразился хохотом.

— Делится пополам? — улыбаясь, спросила госпожа Мозес.

— Не делится! — сердито поправило чадо.

— Ах, не делится? — удивилась госпожа Мозес. — А что именно не делится?

Дитя открыло было рот, но дю Барнстокр сделал неувловимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило.

— В конце концов удивительное происходит не только в нашем отеле, — сказал дю Барнстокр. — Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах...

Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Черт знает что! То вдруг чудилось в этой стройной ладной фигуре молоденькая прелестная девушка. Но стоило смягчиться душою, и девушка пропадала, а вместо нее самым непристойным образом появлялся расхлябанный нагловатый подросток — из тех, что разводят блох на пляжах и накачивают себя наркотиками в общественных уборных. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт его возьми, или девочка, а дю Барнстокр продолжал журчать:

— ...Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума во Вселенной. По оценкам различных ученых — господин Симонэ поправит меня, если я ошибаюсь, — только в нашей Галактике может существовать до миллиона обитаемых солнечных систем. Если бы я был математиком, господа, я бы

на основании этих данных попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания...

Самого дю Барнстокра спрашивать как-то неловко, размышлял я. К тому же он, пожалуй, и сам толком не знает. Откуда ему знать? Дитя и дитя... Любезному хозяину наверняка наплевать. Кайса глупа. У Симонэ спросить — пережить лишний вал загробного веселья... Впрочем, что это я? Мне-то какое до этого дело?.. Жаркого еще взять, что ли?.. Кайса, без сомнения, глупа, но в кулинарии, без всякого сомнения, толк знает...

— ...Согласитесь, — журчал дю Барнстокр, — мысль о том, что чужие глаза внимательно и прилежно изучают нашу старушку-планету через бездны Космоса, — эта мысль уже сама по себе способна занимать воображение...

— Подсчитал, — сказал Симонэ. — Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных и наблюдают только населенные, то это будет единица минус «е» в степени минус единица.

— Неужели так и будет? — сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симонэ восхищенной улыбкой.

Симонэ заржал. Он даже на стуле задвигался. Глаза его увлажнились.

— Сколько же это будет в численном выражении? — осведомился дю Барнстокр, переждав сей акустический налет.

— Приблизительно две трети, — ответил Симонэ, вытирая глаза.

— Но это же огромная вероятность! — с жаром сказал дю Барнстокр. — Я понимаю это так, что мы почти наверняка являемся объектом наблюдения!

Тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задребезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой.

— На себя! — крикнул хозяин. — На себя, пожалуйста!

Я обернулся, и в ту же секунду дверь распахнулась. На пороге появилась удивительная фигура. Массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги, с полами до колен. Под камзолом виднелись форменные брюки с золотыми генеральскими лампасами. Одну руку он держал за спиной, а другой сжимал высокую металлическую кружку.

— Ольга! — прорычал он, глядя перед собой мутными глазами. — Супу!

Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к

столику с супами, хозяин отвалился от буфета и принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить, Симонэ поспешно набил рот картофелем и выкатил глаза, чтобы не загоготать, а господин Мозес — ибо, несомненно, это был он, — торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и там уселся, едва не промахнувшись мимо сиденья.

— Погода, господа, нынче — снег, — объявил он. Он был совершенно пьян. Госпожа Мозес поставила перед ним суп, он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки. — О чем речь? — осведомился он.

— Мы обсуждали здесь возможность посещения Земли визитерами из космического пространства, — пояснил дю Барнстокр, приятно улыбаясь.

— Что это вы имеете в виду? — спросил господин Мозес, с огромным подозрением уставясь поверх кружки на дю Барнстокра. — Не ожидал этого от вас, Барн... Барл... дю!

— О, это чистая теория! — легко воскликнул дю Барнстокр. — Господин Симонэ подсчитал нам вероятность...

— Вздор, — сказал господин Мозес. — Чепуха. Математика — это наука... А это кто? — спросил он, выкатывая на меня правый глаз.

Мутный какой-то глаз, нехороший.

— Позвольте представить, — поспешно сказал хозяин. — Господин Мозес — господин инспектор Глебски. Господин Глебски — господин Мозес.

— Инспектор... — проворчал Мозес. — Фальшивые квитанции, подложные паспорта... Так вы имейте в виду, Глебски, у меня паспорта не подложные. Память хорошая?

— Не жалуюсь, — сказал я.

— Ну так вот, не забывайте. — Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки. — Хороший суп сегодня, — сообщил он. — Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Но что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю.

— По поводу мяса, — сейчас же сказал Симонэ. — Некий чревоугодник заказал в ресторане филе...

— Филе. Так! — одобрительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки.

— Официант принял заказ, — продолжал Симонэ, — а чревоугодник в ожидании любимого блюда разглядывает девиц на эстраде...

— Смешно, — сказал господин Мозес. — Очень смешно пока. Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. Ну-с?

Симонэ заколебался.

— Пардон, — сказал он нерешительно. — У меня тут появились сильнейшие опасения...

— Так. Опасения, — удовлетворенно констатировал господин Мозес. — А дальше?

— Все, — сказал с унынием Симонэ и откинулся на спинку стула.

Мозес воззрился на него.

— Как — все? — спросил он с негодованием. — Но ему принесли филе?

— М-м... Собственно... Нет, — сказал Симонэ.

— Это наглость, — сказал Мозес. — Надо было вызвать метрдотеля. — Он с отвращением отодвинул от себя тарелку. — На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симонэ.

— Уж какая есть, — сказал Симонэ, бледно улыбаясь.

Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину.

— Сневар, — сказал он, — вы нашли негодяя, который крадет туфли?.. Инспектор, вот вам работа. Займитесь-ка на досуге. Все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна.

Я хотел было ответить, что займусь обязательно, но тут чадо завело под самыми окнами своего Буцефала. Стекла в столовой задребезжали,

разговаривать стало затруднительно. Все уткнулись в тарелки, а дю Барнстокр, прижав растопыренную пятерню к сердцу, расточал направо и налево немые извинения. Потом Буцефал взревел совсем уж невыносимо, за окнами взлетело облако снежной пыли, рев стремительно удалился и превратился в едва слышное жужжание.

— Совершенно как на Ниагаре, — прозвенел хрустальный голосок госпожи Мозес.

— Как на ракетодроме! — возразил Симонэ. — Зверская машина.

Кайса на цыпочках приблизилась к господину Мозесу и поставила перед ним графин с ананасным сиропом. Мозес благосклонно посмотрел на графин и отхлебнул из кружки.

— Инспектор, — произнес он, — а что вы думаете по поводу этих краж?

— Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих, — ответил я.

— Странная мысль, — неодобрительно сказал Мозес.

— Нисколько, — возразил я. — Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои.

— О да! — произнес хозяин глухим голосом. — Конечно, в доме только свои. Но ОН был для Леля не просто своим. ОН был для него

богом, господа!

Мозес уставился на него.

— Кто это — ОН? — спросил он строго.

— ОН. Погибший.

— Как интересно! — прошептала госпожа Мозес.

— Не забивайте мне голову, — сказал Мозес хозяину. — А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте — действительно посоветуйте! — ему прекратить. Вы меня понимаете? — Он обвел нас налитыми глазами. — Иначе я тоже начну шутить! — рявкнул он.

Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если господин Мозес начнет шутить. Не знаю, как у других, а у меня лично картина получилась на редкость безотрадная. Мозес разглядывал каждого из нас по очереди, не забывая прихлебывать из кружки. Совершенно невозможно было понять, кто он таков и что здесь делает. И почему на нем этот шутовской лапсердак? (Может быть, он уже начал шутить?) И что у него в кружке? И почему она у него все время словно бы полна, хотя он на моих глазах уже прикладывался к ней раз сто и весьма основательно?..

Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила:

— Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!

Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо:

— Благодарю вас, господа. До ужина.

3

— Представления не имею, кто он такой, — произнес хозяин, разглядывая стакан на свет. — Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности. Но он не коммерсант. Полоумный алхимик, волшебник, изобретатель... но только не коммерсант.

Мы сидели в каминной. Жарко пылал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе начиналась пурга, в каминной трубе посвистывало. В доме было тихо, только временами издалека, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота да резкие, как выстрелы, трески удачных клапшtosов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями.

— Коммерсанты обычно скупы, — продолжал хозяин задумчиво. — А господин Мозес не скуп, нет. «Могу ли я осведомиться, — спросил я его, —

чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?» Вместо ответа он вытащил из бумажника стокроновый билет, поджег его зажигалкой, раскурил от него сигарету и, выпустив дым мне в лицо, ответил: «Я — Мозес, сударь. Альберт Мозес! Мозес не нуждается в рекомендациях. Мозес везде и всюду дома». Что вы на это скажете?

Я подумал.

— У меня был знакомый фальшивомонетчик, который вел себя примерно так же, когда у него спрашивали документы, — сказал я.

— Отпадает, — с удовольствием сказал хозяин. — Билеты у него настоящие.

— Значит, взбесившийся миллионер.

— То, что он миллионер, это ясно, — сказал хозяин. — А вот кто он такой? Путешествует по собственной надобности... По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги.

Я совсем лег в кресло и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и с самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес.

— Ну хорошо, — сказал я. — Тупик. А что делает в этом тупике господин дю Барнстокр?

— О, господин дю Барнстокр — это совсем

другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно вот уже тринадцатый год подряд. Впервые он приехал еще тогда, когда отель назывался просто «Шалаш». Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе, а между тем за все время не взял у меня ни бутылки.

Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток.

— Изобретатель, — решительно сказал хозяин. — Изобретатель или волшебник.

— Вы верите в волшебников, господин Сневар?

— Алек, если вам будет угодно. Просто Алек.

Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека.

— Тогда зовите меня просто Петер, — сказал я.

Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера.

— Верю ли я в волшебников? — сказал он. — Я верю во все, что могу себе представить, Петер. В волшебников, в господа Бога, в дьявола, в привидения... в летающие тарелки... Раз человеческий мозг может все это вообразить, значит все это где-то существует, иначе зачем бы мозгу такая способность?

— Вы философ, Алек.

— Да, Петер, я философ. Я поэт, философ и

механик. Вы видели мои вечные двигатели?

— Нет. Они работают?

— Иногда. Мне приходится часто останавливать их, слишком быстро изнашиваются детали... Кайса! — заорал он вдруг так, что я вздрогнул. — Еще стакан горячего портвейна господину инспектору!

Вошел сенбернар, обнюхал нас, с сомнением поглядел на огонь, отошел к стене и с грохотом обрушился на пол.

— Лель, — сказал хозяин. — Иногда я завидую этому псу. Он многое, очень многое видит и слышит, когда бродит ночами по коридорам. Он мог бы многое рассказать, если бы умел. И если бы захотел, конечно.

Появилась Кайса, очень румяная и слегка растрепанная. Она подала мне стакан портвейна, сделала книксен, хихикнула и удалилась.

— Пышечка, — пробормотал я машинально. Все-таки это был уже третий стакан. Хозяин добродушно хохотнул.

— Неотразима, — признал он. — Даже господин дю Барнстокр не удержался и ущипнул ее вчера за зад. А уж что делается с нашим физиком...

— По-моему, наш физик имеет в виду прежде всего госпожу Мозес, — возразил я.

— Госпожа Мозес... — задумчиво произнес хозяин. — А вы знаете, Петер, у меня есть довольно

веские основания предполагать, что никакая она не госпожа и вовсе не Мозес.

Я не возражал. Подумаешь...

— Вы, вероятно, уже заметили, — продолжал хозяин, — что она гораздо глупее Кайсы. И потом... — Он понизил голос. — По-моему, Мозес ее бьет.

Я вздрогнул.

— Как — бьет?

— По-моему, плеткой. У Мозеса есть плетка. Арапник. Едва я его увидел, как сразу задал себе вопрос: зачем господину Мозесу арапник? Вы можете ответить на этот вопрос?

— Ну, знаете, Алек... — сказал я.

— Я не настаиваю, — сказал хозяин. — Я ни на чем не настаиваю. И вообще о господине Мозесе заговорили вы, я бы никогда не позволил себе первым коснуться такого предмета. Я говорил о нашем великом физике.

— Ладно, — согласился я. — Поговорим о великом физике.

— Он гостит у меня не то третий, не то четвертый раз, — сказал хозяин, — и с каждым разом приезжает все более великим.

— Подождите, — сказал я. — Кого, вы собственно, имеете в виду?

— Господина Симонэ, разумеется. Неужели вы никогда раньше не слыхали этого имени?

— Никогда, — сказал я. — А что, он попадался на подлогах багажных квитанций?

Хозяин посмотрел на меня укоризненно.

— Героев национальной науки надо знать, — строго сказал он.

— Вы серьезно? — осведомился я.

— Абсолютно.

— Этот унылый шалун — герой национальной науки?

Хозяин покивал.

— Да, — сказал он. — Я понимаю вас... Конечно: прежде всего манеры, а потом уже все остальное... Впрочем, вы правы. Господин Симонэ служит для меня неиссякаемым источником размышлений о разительном несоответствии между поведением человека, когда он отдыхает, и его значением для человечества, когда он работает.

— Гм... — произнес я. Это было почище арапника.

— Я вижу, вы не верите, — сказал хозяин. — Но должен вам заметить...

Он замолчал, и я почувствовал, что в каминной появился еще кто-то. Пришлось повернуть голову и скосить глаза. Это было единственное дитя покойного брата господина дю Барнстокра. Оно возникло совершенно неслышно и теперь сидело на корточках рядом с Лелем и гладило собаку по голове. Багровые блики от

раскаленных углей светились в огромных черных очагах. Дитя было какое-то очень уж одинокое, всеми забытое и маленькое. И от него исходил едва заметный запах пота, хороших духов и бензина.

— Метель какая... — сказала оно тоненьким жалобным голоском.

— Брюн, — сказал я. — Дитя мое. Снимите на минутку ваши ужасные очки.

— Зачем? — жалобно спросило чадо.

Действительно, зачем? — подумал я и сказал:

— Я хотел бы увидеть ваше лицо.

— Это совершенно не нужно, — сказала чадо, вздохнуло и попросило: — Дайте, пожалуйста, сигаретку.

Ну, конечно же, это была девушка. Очень милая девушка. И очень одинокая. Это ужасно — в таком возрасте быть одиноким. Я поднес ей пачку с сигаретами, я щелкнул зажигалкой, я поискал, что сказать, и не нашел. Конечно, это была девушка. Она и курила, как девушка — короткими нервными затяжками.

— Как-то мне страшно, — сказала она. — Кто-то трогал ручку моей двери.

— Ну-ну, — сказал я. — Наверное, это был ваш дядя.

— Нет, — возразила она. — Дядя спит. Уронил книжку на пол и лежит с открытым ртом. И мне почему-то вдруг показалось, что он умер...

— Рюмку бренди, Брюн? — сказал хозяин глухим голосом. — Рюмка бренди не помешает в такую ночь, а, Брюн?

— Не хочу, — сказала Брюн и передернула плечами. — Вы еще долго будете здесь сидеть?

У меня не стало сил слушать этот жалобный голос.

— Черт возьми, Алек, — сказал я. — Вы хозяин или нет? Неужели нельзя приказать Кайсе провести ночь с бедной девушкой?

— Эта идея мне нравится, — сказала дитя, оживившись. — Кайса — это как раз то, что надо. Кайса или что-нибудь в этом роде.

Я в замешательстве опорожнил стакан, а дитя вдруг выпустило в камин длинный точный плевок и отправило следом окурочек.

— Машина, — сказала оно сиплым басом. — Не слышите, что ли?

Хозяин поднялся, подхватил меховой жилет и направился к выходу. Я устремился за ним.

На дворе бушевала настоящая метель. Перед крыльцом стояла большая черная машина, возле нее в отсветах фар размахивали руками и ругались.

— Двадцать крон! — вопили фальцетом. — Двадцать крон и не грошом меньше! Черт бы вас подрал, вы что, не видели, какая дорога?

— Да за двадцать крон я куплю тебя вместе с твоим драндулетом! — визжали в ответ.

Хозяин ринулся с крыльца.

— Господа! — загудел его мощный голос. — Это все пустяки!..

— Двадцать крон! Мне еще назад возвращаться!..

— Пятнадцать и ни гроша больше! Вымогатель! Дай мне твой номер, я запишу!

— Скупердяй ты, вот и все! Из-за пятерки удавиться готов!..

— Господа! Господа!..

Мне стало холодно, и я вернулся к камину. Ни собаки, ни чада здесь уже не было. Это меня огорчило. Я взял свой стакан и направился в буфетную. В холле я задержался — входная дверь распахнулась, и на пороге появился громадный, залепленный снегом человек с чемоданом в руке. Он сказал «бр-р-р», мощно встряхнулся и оказался светловолосым румяным викингом. Лицо у него было мокрое, на бровях белым пухом лежали снежинки. Заметив меня, он коротко улыбнулся, показав ровные чистые зубы, и произнес приятным баритоном:

— Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф.

Я тоже представился. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним — маленький, закутанный до глаз человечек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный.

— Проклятые хапуги! — говорил он с истерическим надрывом. — Подрядились за пятнадцать. Ясно, кажется, — по семь с половиной с носа. Почему двадцать? Что за чертовы порядки в этом городишке? Я, черт побери, в полицию его сволоку!..

— Господа, господа!.. — приговаривал хозяин. — Все это пустяки... Прошу вас сюда, налево... Господа!..

Маленький человечек, продолжая кричать про разбитые в кровь морды и про полицию, дал себя увлечь в контору, а викинг Олаф пробасил: «Скряга...» — и принялся оглядываться с таким видом, словно ожидал здесь обнаружить толпу встречающих.

— Кто он такой? — спросил я.

— Не знаю. Взяли одно такси. Другого не оказалось.

Он замолчал, глядя через мое плечо. Я оглянулся. Ничего особенного там не было. Только портьера, закрывающая вход в коридор, который вел в каминную и к номерам Мозеса, слегка колыхалась. Наверное, от сквозняка.

4

К утру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на

крыльцо и, крикая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие трех стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта на востоке, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что третье окно справа на втором этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то даже ночью пожелал вдохнуть целебный горный воздух.

Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную, прыгая через ступеньку. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне чашку какао и сэндвич, и я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. Только бы никого не встретить, подумал я. Утро слишком хорошо для двоих... Думая об этом утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний, закутанный до бровей в шубу человечешко, закативший скандал из-за пяти крон. (Хинкус, ходатай по делам несовершеннолетних, в отпуске по болезни.) И я никого не встретил, кроме сенбернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепления, и утро, ясное небо, золотое солнце,

пушистая белая долина — все это досталось мне одному.

Когда, совершив десятимильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже была ключом. Все население вывалилось погреться на солнышке. Чадо со своим Буцефалом на радость зрителям вспарывало и потрошило свежие сугробы — от обоих валил пар. Ходатай по делам несовершеннолетних, оказавшийся вне шубы жилистым остролицым типчиком лет тридцати пяти, гикая, описывая на лыжах сложные восьмерки вокруг отеля, не удаляясь, впрочем, слишком далеко. Сам господин дю Барнстокр взгромоздился на лыжи и был уже весь вывалян в снегу, как невероятно длинная и истощенная снежная баба. Что же касается викинга Олафа, то он демонстрировал танцы на лыжах, и я почувствовал себя несколько уязвленным, когда понял, что это — настоящий умелец. С плоской крыши на все это взирали госпожа Мозес в изящной меховой пелерине, господин Мозес в своем камзоле и с неизменной кружкой в руке и хозяин, что-то им обоим втолковывающий. Я поискал глазами господина Симонэ. Великий физик тоже должен был где-то здесь наличествовать — ржание и лай его я услышал мили за три от отеля. И он здесь наличествовал — висел на верхушке совершенно гладкого телефонного столба и отдавал

мне честь.

Меня вообще приветствовали очень тепло. Господин дю Барнстокр поведал мне, что у меня появился достойный соперник, а госпожа Мозес с крыши прозвенела подобно серебряному колокольчику о том, что господин Олаф прекрасен, как возмужалый бог. Это меня кольнуло, и я не замедлил свалить дурака. Когда чадо, которое сегодня, несомненно, было парнем, таким диким ангелом без манер и без морали, предложило гонки на лыжах за мотоциклом, я бросил вызов судьбе и викингу и первым подхватил конец троса.

Десяток лет назад я занимался этим видом спорта, однако тогда мировая промышленность, по-видимому, не выпускала еще Буцефалов, да и сам я был покрепче. Короче говоря, минуты через три я снова оказался перед крыльцом, и вид у меня, вероятно, был неважный, потому что госпожа Мозес испуганно спросила, не следует ли меня растереть, господин Мозес ворчливо посоветовал растереть этого горе-лыжника в порошок, а хозяин, мигом очутившийся внизу, заботливо подхватил меня под мышки и стал уговаривать немедленно глотнуть чудодейственной фирменной настойки — «ароматной, крепкой, утоляющей боль и восстанавливающей душевное равновесие». Господин Симонэ издевательски рыдал и гукал с вершины телефонного столба, господин дю

Барнстокр, извиняясь, прижимал к сердцу растопыренную пятерню, а подъехавший ходатай Хинкус, азартно толкаясь и вертя головой, спрашивал у всех, много ли переломов и «куда его унесли».

Пока меня отряхивали, ощупывали, массировали, вытирали мне лицо, выгребали у меня из-за шиворота снег и искали мой шлем, конец троса подхватил Олаф Андварафорс, и меня тут же бросили, чтобы упиться новым зрелищем — действительно, довольно эффектным. Всеми покинутый и забытый, я все еще приводил себя в порядок, а изменчивая толпа уже восторженно приветствовала нового кумира. Но фортуне, знаете ли, безразлично, кто вы — белокурый бог снегов или стареющий полицейский чиновник. В апогее триумфа, когда викинг уже возвышался у крыльца, картинно опершись на палки и посылая ослепительные улыбки госпоже Мозес, фортуна слегка повернула свое крылатое колесо. Сенбернар Лель деловито подошел к победителю, пристально его обнюхал и вдруг коротким, точным движением поднял лапу прямо ему на пьексы. О большем я и мечтать не мог. Госпожа Мозес взвизгнула, разразился многоголосый взрыв возмущения, и я ушел в дом. По натуре я человек не злорадный, я только люблю справедливость. Во всем.

В буфетной я не без труда выяснил у Кайсы,

что душ в отеле работает, оказывается, только на первом этаже, поспешил за свежим бельем и полотенцем, но как я ни спешил, а все-таки опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение, а перед дверью стоял Симонэ, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин дю Барнстокр. Мы закурили. Симонэ, давясь от смеха и оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. Но тут, к счастью, появилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин дю Барнстокр галантно и пространно ответил ей, что, увы, нет. Симонэ, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение с явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю де Шанель у них две ванны — одна золотая, а другая, кажется, платиновая, и, когда мы не нашли, что на это ответить, сообщила, что пойдет поищет господина Мозеса в другом месте. Симонэ тут же вызвался сопровождать ее, и мы с дю Барнстокром остались вдвоем. Дю Барнстокр, понизив голос,

осведомился, видел ли я досадную сцену, имевшую место между сенбернаром Лелем и господином Андварафорсом. Я доставил себе маленькое удовольствие, ответивши, что нет, не видел. Тогда дю Барнстокр описал мне эту сцену со всеми подробностями и, когда я кончил всплескивать руками и сокрушенно цокать языком, скорбно добавил, что наш добрый хозяин совершенно распустил своего пса, ибо не далее как позавчера сенбернар точно так же обошелся в гараже с самой госпожой Мозес. Я снова всплеснул руками и зацокал языком, на этот раз уже вполне искренне, но тут к нам присоединился Хинкус, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут как с двоих, а душ вот работает только один. Господин дю Барнстокр ловко успокоил его: извлек из его полотенца двух леденцовых петушков на палочке. Хинкус немедленно замолчал и даже, бедняга, переменился в лице. Он принял петушков, засунул их себе в рот и уставился на великого престиджитатора с ужасом и недоверием. Тогда господин дю Барнстокр, чрезвычайно довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел.

А в душе шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая,

сошли рука об руку господин Мозес и опозоренный невоспитанной собакой кумир дня Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря лишнего слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше десяти минут.

Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось навверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой.

— Давно стоите? — осведомился Олаф.

— Да, довольно давно, — отозвался дю Барнстокр.

Хинкус вдруг неразборчиво что-то пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл.

— Послушайте, — сказал я. — Кто-нибудь еще приехал сегодня утром?

— Только вот эти господа, — сказал дю Барнстокр. — Господин Андварафорс и господин... э-э... вот этот маленький господин, который только что ушел...

— Мы приехали вчера вечером, — возразил

Олаф.

Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. И конечно же, дверь открылась. И конечно же, в душевой никого не оказалось. Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка Погибшего Альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.

— Кэ дьябль! — воскликнул дю Барнстокр. — Хозяин! Подите сюда!

Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симонэ. Перегнулось через перила чадо с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасно выглянул Хинкус.

— Это невероятно! — возбужденно говорил дю Барнстокр. — Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа, не правда ли, инспектор?

— А у меня опять кто-то на постели валялся, — сообщило чадо сверху. — И полотенце все мокрое.

В глазах Симонэ прыгало дьявольское веселье.

— Господа, господа... — приговаривал

хозяин, делая успокаивающие жесты. Он нырнул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное. — Господа! — произнес он глухим голосом. — Я могу только засвидетельствовать факты. Это ЕГО приемник, господа. И это ЕГО куртка.

— А, собственно, чья... — спокойно начал Олаф.

— ЕГО. Погибшего.

— Я хотел спросить, чья, собственно, очередь? — по-прежнему спокойно сказал Олаф.

Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрал с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симонэ, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, наверное, подумал я со злостью. Пусть-ка теперь постоит. Герой национальной науки. Сколько воды зря пропало... Нет, этих шутников надо ловить. И наказывать. Я вам покажу, как со мной шутки шутить...

Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадю, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом!» — сказала оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер.

Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора — солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это, должно быть, великий физик Симонэ прыгает там с трубы на трубу и гогочет на всю долину. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек — один, по-видимому, сидел, другой стоял перед ним. Загорают, подумал я и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. Я закурил и вышел в коридор. Было уже около трех.

На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота, лицо у него при этом было белое до зелени, глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды.

Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился.

— Загораете? — спросил я из вежливости. — Не сгорите там. Вид у вас нездоровый.

Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом.

— Захотелось вот выпить, — проговорил он хриловато.

— Жарко? — спросил я, не оборачиваясь.

— Д-да... Жарковато.

— Смотрите, — сказал я. — Мартовское солнце в горах — злое.

— Да ничего... Выпью вот, и ничего.

Мы спустились в холл.

— Вы бы все-таки оделись, — посоветовал я. — Вдруг там госпожа Мозес...

— Да, — сказал он. — Натурально. Совсем забыл.

Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал что-нибудь покрепче.

— Симонэ тоже там? — спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом.

— Где? — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Нет. Никого там нет.

Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку.

— Странно, — сказал я. — Мне почему-то показалось, что Симонэ тоже там, на крыше.

— А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось, — грубо ответил ходатай по делам и выпил. И тут же налил снова.

— Что это с вами? — спросил я.

Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку и вдруг сказал:

— Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?

— Да нет, спасибо, — ответил я. — Боюсь сгореть. Кожа чувствительная.

— И никогда не загораете?

— Нет.

Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок.

— Воздух там хорош, — произнес он. — И вид прекрасный. Вся долина как на ладони. Горы...

— Пойдемте сыграем на бильярде, — предложил я. — Вы играете?

Он впервые посмотрел мне прямо в лицо

маленькими больными глазками.

— Нет, — сказал он. — Я уж лучше воздухом подышу.

Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свое бренди.

— Смотрите, не свалитесь с крыши, — сказал я ему.

Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симонэ. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симонэ там тоже не было. Дю Барнстокр и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посредине стола высилась кучка смятых банкнот. Увидев меня, дю Барнстокр сделал широкий жест и воскликнул:

— Заходите, заходите, инспектор! Дорогой Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора?

— Да, — сказал Олаф, не отрываясь от карт. — С радостью. — И объявил пики.

Я извинился и закрыл дверь. Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его и, что самое удивительное, не слышно. А впрочем, что мне он? Погоняю шары в одиночку. В сущности,

никакой разницы нет. Даже еще приятнее. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес.

— И вы тоже загорали? — ляпнул я, потерявшись.

— Загорала? Я? Что за странная мысль. — она пересекла площадку и приблизилась ко мне. — Какие странные предположения вы высказываете, инспектор!

— Не называйте меня, пожалуйста, инспектором, — попросил я. — Мне до такой степени надоело это слышать на службе... а теперь еще от вас...

— Я о-бо-жаю полицию, — произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза. — Эти герои, эти смельчаки... Вы ведь смельчак, не правда ли?

Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел ее в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная.

— Сударыня, — сказал я. — Да вы совсем замерзли...

— Нисколько, инспектор, — ответила она и тут же спохватилась. — Простите, но как же мне вас называть теперь?

— Может быть, Петер? — предложил я.